

Лев Копелев

## ПИСЬМО СОЛЖЕНИЦЫНУ

*Köln, 30.I-5.II-1985*

Саня!

Писать после операции еще не могу, поэтому вынужден диктовать.

На твое письмо от 11 января 1985 года попытаюсь отвечать в той же последовательности, в которой построено твое «обвинительное заключение».

— Суждения Карла Проффера<sup>1</sup> о писателях и литературных явлениях были всегда его личными. Он мыслил своеобразно и независимо, переубеждать его было трудно, почти невозможно. Он был цельный, душевно чистый и сильный человек, страстно влюбленный в Россию, в русскую литературу. Однако наши мнения и о русской, и об американской литературе бывали часто не просто разными, но и противоположными. Так, например, я не разделял его восторженного почитания Н. Я. Мандельштам, и романов Саши Соколова, высоких оценок прозы Марамзина. Он же не разделял наших высоких оценок твоей прозы, романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» (даже отказался публиковать этот роман, несмотря на наши настойчивые просьбы), книг Вл. Корнилова и др. Мы, бывало, яростно спорили. Но, так как Проффер воспитывался не в советской школе, а я уже давно начал «по каплям выдавливать» из себя большевистскую нетерпимость, то никакие литературные разногласия не мешали нам оставаться добрыми друзьями. Статьи его, на которую ты ссылаешься, я вообще не читал.

---

<sup>1</sup> Американский славист. Основатель издательства «Ардис».

— Никакой «веселой встречи» в январе 1974 года не предполагалось. В тот день, когда я с тобой виделся действительно в последний раз, я подошел к тебе только потому, что мне сказали, будто ты хочешь о чем-то поговорить. И, между прочим, спросил тебя, не хотел бы ты встретиться с Профферами, которые в Переделкино (они приезжали не к тебе). Мне казалось, что они, создавшие замечательное русское издательство, выпустившие первую полную библиографию тебе посвященных зарубежных публикаций, могут быть тебе полезны.

— Наши воспоминания об Ахматовой написаны строго по дневникам и письмам. О встрече с тобой она рассказывала и другим людям. Так же как и ты о встрече с ней рассказывал, вероятно, не только нам. Мы тогда же записали все, точно так, как слышали, и потом воспроизвели написанное, ничего не меняя. Почему же правду нужно считать «подпусканием черненького»?

— Сообщения твоих московских корреспондентов о том, что я тебя «поношу до неприличия», «исходя ненавистью» были, видимо, сильно преувеличенными (мягко говоря), отражениями таких фактов:

В твоих сочинениях, которые я прочитал уже после твоей высылки («Жить не по лжи». «Архипелаг ГУЛаг II», статьи в сборнике «Из-под глыб». «Письмо вождям», «Бодался теленок с дубом»), иные страницы вызывали у меня боль, горечь, гнев, стыд за тебя и жалость к тебе. В течение десятилетия ты представлял нашу литературу с таким замечательным достоинством, с такой безоговорочной правдивостью, и вот это достоинство, эта правдивость стали колебаться, давать трещины, обваливаться, потому что ты вообразил себя единственным носителем единственной истины.

Самые существенные возражения я изложил тогда же статье «Ложь победима только правдой», она ходила в самиздате, была издана за границей, недавно переиздана в сборнике моих статей «О правде и терпимости» (1982, изд-во Чалидзе), по моему настоянию вместе с заявлением, сделанным мной после твоего ареста 12-го февраля 1974.

За десять лет ни ты, никто из твоих сторонников не оппорили ни одного тезиса этой статьи.

Особую, личную боль причинило мне признание о «Ветрове». В лагерях и на шарашке я привык, что друзья, которых вербовал кум, немедленно рассказывали мне об этом. Мой такой рассказ ты даже использовал в «Круте». А ты скрывал от Мити<sup>2</sup> и от меня, скрывал еще годы спустя. Разумеется, я возражал тем, кто вслед за Якубовичем утверждал, что значит ты и впрямь выполнял «ветровские» функции, иначе не попал бы из лагеря на шарашку. Но я с болью осознал, что наша дружба всегда была односторонней, что ты вообще никому не был другом, ни Мите, ни мне.

И ты подтвердил это как художник в написанном тобой автопортрете. Твой Ленин<sup>3</sup> не только мной был воспринят как талантливый автопортрет; в его отношении к работе, к себе, к женщинам, к друзьям отчетливо проступаешь ты.

Это, пожалуй, самый удачный из твоих автопортретов, они художественно куда значительнее Нержина. Костоглотова и самовлюбленного «бодливого Теленка».

— В журнале «Время и мы» был опубликован только отрывок из моих «шарашечных воспоминаний». Книга «Утоли моя печали» издана в 1981 году в «Ардисе». Прилагаю страницу, заключающую раздел о тебе. Что здесь «дрянь», что «сквозь зубы»?

Писательских претензий у меня никогда не было, но в одном я уверен твердо: я написал только то, что помнил и так, как помнил, себя я не щадил и не пытался ничего ни приукрасить, ни причернить.

Тем из описанных людей, кто был в Москве, я показывал текст — А. Любимову, Е. Тимофееву, С. Куприянову и др. Кое-кто просил изменить их имена и некоторые подробности биографий. От издания к изданию я ничего не менял, не переделывал, не подгонял к новым обстоятельствам и новым отношениям.

— История «хождения рукописи» «Щ 854»<sup>4</sup> изложена тобой теперь уже в личном письме столь удаленно от истины,

---

<sup>2</sup> Дмитрий Панин, солагерник Солженицына, прообраз Сологодина (см. «В круте первом»).

<sup>3</sup> «Ленин в Цюрихе».

<sup>4</sup> Первоначальное название «Одного дня Ивана Денисовича».

что я прежде всего удивился, хотя за последние годы должен был бы перестать удивляться тому, как своеобразно ты «живешь не по лжи».

Первое знакомство с этой рукописью было нами тогда же записано. Тогда ведь мы (уже и еще) не боялись обыска.

Начиная с 1966 года мы все дневниковые записи прятали подальше, а потом и переправляли на хранение за рубеж. Таким образом наши архивы оказались в основном здесь, с нами. В них и дневники, и письма, в том числе и твои (с 1956 по 1973 — 64 твоих записей и писем, а здесь с 1980 по 1985, последнее письмо — седьмое). Письма частью в подлинниках, а частью в фотокопиях (подлинники хранятся в ЦГАЛИ, где у нас «закрытое хранение»). Дневники вели и некоторые из тех, кто читал рукопись до ноября, так что подлинная история документирована разными людьми.

Ты привез нам рукопись в мае 1961 года. Я начал читать при тебе же. И сразу сказал, что это мне нравится гораздо больше, чем «Шарашка». Позднее говорил, что могу повторить слова Ленина о Маяковском: «не знаю, как насчет поэзии, но политически своевременно».

Потом прочла Рая, и мы вместе с тобой составили список тех, кому ты разрешил показывать рукопись, не выпуская ее из нашей квартиры и не называя имени автора: Всеволод Иванов, Вячеслав Иванов, Лидия Чуковская, Владимир Тендряков, Иван Рожанский, Лев Осповат... Не все из них тогда прочитали, но летом прибавились еще читатели. Когда мы вернулись в ноябре 1961 года с Кавказа после XXII съезда, в твой первый приход к нам (5-го или 6-го ноября) мы обсуждали, как теперь быть с рукописью. Мы вдвоем долго уговаривали тебя, что наступило время показать рукопись Твардовскому.

Никто из нас тогда не рассчитывал на публикацию. Но после того, как рукопись побывает в редакции «Нового мира», ты уже не будешь отвечать за ее распространение.

И как именно передавать, мы с тобой обсуждали очень подробно. Решили, что передаст Рая через Асю Б.<sup>6</sup> а не я че-

---

<sup>5</sup> Р. Орлова, жена Л. Копелева.

<sup>6</sup> А. С. Берзер — редактор в «Новом мире».

рез Марьямова, так как Твардовский и некоторые другие члены редколлегии ко мне плохо относятся.

В тот день, когда я пришел к Твардовскому говорить о «Тарусских страницах». А. Б. сказала мне, что вручит ему рукопись в ближайшие часы и просила назвать какое-либо имя автора. И я надписал сверху «А. Рязанский».

С Твардовским у меня произошло резкое объяснение: он отказался вмешаться, чтобы предотвратить грозившее уничтожение большей части тиража «Тарусских страниц», ругал Паустовского, поэтому я уже не стал говорить о «Щ 854».

В то утро, когда он позвонил мне: «Оказывается, это вы принесли рукопись. Почему же вы ничего не сказали про нее?», я ему так и ответил: «У нас с вами получился такой неприятный разговор, что я не хотел испортить судьбу этой рукописи». Он возразил: «Ну, тут никакие разговоры не могли бы ничего испортить. Эта вещь как «Записки из Мертвого дома». Кто автор?...» и т. д.

Рая отнесла А. Б. единственный имевшийся у нас экземпляр, сказала ей, что это произведение о лагере, настойчиво просила передать лично Твардовскому, минуя всех членов редколлегии.

Мы тогда условились в письмах и телефонных разговорах называть твою рукопись «Моей статьей». 14 ноября 1961 года ты писал: «...в воскресенье я слушал — не по телевидению, а по УВЧ-сопровождению — выступление Твардовского о редакционных планах «Нового мира», — меня берут большие сомнения в том, что статья твоя им подойдет. Ну, да тебе видней, нужно ли?»

Именно так ты сомневался и колебался и в последнем разговоре.

Когда уже в 1962 году пошли слухи, что якобы именно мы распространяем рукопись и тем самым «ставим под угрозу публикацию», ты пришел к нам с претензиями, я был неприятно поражен. Я предположил, что ты поверил слухам потому, что мы раньше говорили о необходимости «самиздата», но оскорбляло недоверие: ведь мы же сказали тебе, что отдали единственный экземпляр. Тогда казалось, что ты, ошеломлен-

ный неожиданным успехом, испытал влияние подозрений Твардовского и работников редакции.

В апреле 1964 года у нас с тобой возникла весьма сердитая размолвка по поводу нового варианта «Круга». Я высказал тебе некоторые критические суждения. Ты возразил сердитым письмом, в котором впервые заодно упрекнул меня за недооценку «Ивана Денисовича».

А теперь, 10 лет спустя, в последнем письме ты пишешь уже, что якобы я «забраковал его, — то есть «И. Д.» вместе с «Кругом» как соцреализм». Но неужели ты забыл, что для меня в те годы понятие «соцреализм» было весьма одобрительным? В 1960 году вышла моя первая книга «Сердце всегда слева», где я искренней глупой уверенностью излагал свою теорию соцреализма. И в этом я не был ни одинок, ни оригинален. В. Днепров и Г. Лукач хвалили «Ивана Денисовича» именно как образец социалистического реализма. А Генрих Белль в 1968 году писал о тебе с любовью и как о художнике-обновителе социалистического реализма. Социалистический реализм — это стремление отражать реальную действительность в свете определенной идеологии.

Сейчас я думаю: не существенно, какая именно идеология владеет автором. Между социалистическим, антисоциалистическим или национал-социалистическим реализмами разницы нет. Вот уже и сейчас, два-три десятилетия спустя, явственно, что книги Кочетова и генерала Краснова стоят на одной полке.

Непомерное усиление идеологической сосредоточенности автора может стать и разрушительным, когда художник превращается в пропагандиста, в иллюстратора.

По этому пути двинулся ты от «Ивана Денисовича» и «Кречетовки» к многотомным сплавам из думских протоколов, царских дневников, штабных сводок и политической риторики. В твоих «Узлах» история пишется точно по Покровскому, как «политика, опрокинутая в прошлое», и в ней теряются, тонут страницы все еще художественной прозы. Ты повторяешь развитие Шолохова от «Тихого Дона» к «Поднятой целине», Федина, Леонова, Фадеева. Этим талантливых писателей обрек на печальные неудачи их идеологический реал-

лизм, определявшийся искренней преданностью внехудожественным идеологическим сверхзадачам.

И совсем напротив, в творчестве Ахматовой и Пастернака поэтическое, художественное начало в конечном счете всегда преодолевало любую идеологию. Платонов, страстно веривший в правду советской революции, и Булгаков, никогда ни на миг ее не признававший, остаются замечательными художниками потому, что каждый творил независимо от своих же политических взглядов.

Но если в вопросе о соцреализме в «Иване Денисовиче» ты просто по-иному оцениваешь мое тогдашнее отношение к этому понятию, то о конкретных фактах ты пишешь, сознательно искажая правду.

16 апреля 64 года я написал тебе: «Историю моего отношения к «ОДИД» и историю его передачи в «НМ» ты излагаешь в том варианте, который создан мелким тщеславием одного великого поэта и одной не великой редакторши: излагаешь вопреки тому, что тебе не может быть неизвестно. Ведь вместе с тобой разрабатывался «тактический» план: чтобы рукопись передавала Рая, т. к. у меня репутация «восторженного» и «увлекающегося», чтобы обязательно передать ее главному, минуя Дементьева и Закса и поэтому передавать не самим, т. к. он нас почти не знает, вернее, знает неприязненно и т. п. Почему они придумали свой вариант «открытия из текучки» легко понять, но почему ты решил поддерживать его, — не могу найти ни одного объяснения, которое не было бы, мягко говоря, нелестным».

21 апреля последовал твой ответ: «Левка! Это непостижимо, чтобы мы с тобой поссорились из-за какого-то, как выражается Рая, «брёда собачьего». Последнее письмо к тебе я писал с единственной целью объяснить, почему мне мало сказанного тобой по роману, почему я хотел бы более веских доводов в пользу переделки, а вовсе не затем, чтобы тебя обидеть, я цели такой не мог иметь, я чувства в себе такого не содержу, борода ты моя злополучная».

И, как это бывало не раз и до и после этого, я не стал настаивать на точном, недвусмысленном выяснении вопроса. И во все последующие годы в Москве, каждый раз, когда я замечал, что ты хитришь, что говоришь неправду, что лице-

меришь или, напротив, хамишь, я не мог порвать с тобой и потому что слишком прочно укоренены были во мне давние дружеские связи, но прежде всего потому, что ты всегда был под угрозой. Важнее всех выяснений было для нас помогать тебе. Так было после обыска у Теуша (ведь главной причиной того, что я ввязался в дело Синявского-Даниэля, была именно тревога за тебя). Так было, когда стали появляться «лжесолженицины», и когда лекторы ЦК доверительно рассказывали то о «власовце», то о «Солженицере», и в страшный день 15 октября 1970 года, и во все последующие трудные для тебя месяцы и годы опасностей, угроз, болезней.

Тогда не было ни времени, ни охоты заниматься отдельными и тем более только личными противоречиями и разногласиями.

Весной 1975 года мы прочитали «Бодался теленок с дубом». И там уже обстоятельно, словно бы строго исторично, ты писал заведомую неправду.<sup>7</sup>

То, что и как ты там написал, включая стыдливую оговорку, будто тебе «это не в тот год было рассказано», не соответствовало действительности.

И тогда я понял, что А. Б. сама никогда не придумала бы историю о случайном нахождении рукописи. Это сочинил именно ты. В 1975 году некоторые друзья, знавшие правду, уговаривали меня не возражать: «ведь он это делает, чтобы поддержать А. Б.: после смерти Твардовского она совершенно незащитна. А «Один день Ивана Денисовича» был главным событием ее жизни». Добрые люди хотели видеть в этом только добрую сказку. А я не собирался опровергать тебя публично, потому что нам обоим казалось ненужным и недостойным заниматься «разбираловкой» по личному вопросу. Рая тогда сказала: «Наше дело помогать, а не спорить, кто первый, кто второй».

Но эта твоя «малая неправда» была лишь одной из многих. Не доверяя своим современным и будущим биографам, ты решил сам сотворить свой миф, по-своему написать свое житие. И тебе мешали свидетели. Именно поэтому ты по-ленински отталкивал всех бывших друзей. Именно поэтому

---

<sup>7</sup> «Бодался теленок с дубом», 1975. стр. 20-25.

так опасался мемуаров Натальи Алексеевны.<sup>8</sup> Вот и я мешаю тебе.

Но больше всего мешаешь себе ты сам. Из-за своей беспредельной самоуверенности, ты часто совершенно неправильно оцениваешь людей. Ты как художник создаешь иногда прекрасные, пластические образы, живописуешь отдельные, характерные черты. Но даже о самых близких тебе людях ты знаешь только то, что хочешь знать, то, что тебе件лезно.

Так и во мне ты продолжал видеть сочиненного тобою Рубина. Ты справедливо ощущал душевную теплоту моей привязанности к тебе. Но ты не знал и не хотел знать, чем, как я живу, о чем думаю, что пишу, как менялись мои взгляды за двадцать лет после освобождения. И ты не представлял себе, насколько основательно я узнавал тебя.

Поэтому, видимо, и сейчас не понимаешь, что мой плюрализм означает терпимость к любым взглядам, мнениям, суждениям, противоречащим моим, но вовсе не позволяет мне соглашаться с ложью.

Прочитав «Теленка», я записал в дневнике: «читал сперва с невольным умилением — от воспоминаний, от тогдашних его рассказов, азарта свар, игры с Твардовским, прочих игр в конспирацию и всяческий Томсойеризм. А потом все больше и больше раздражался. Только глава о 12-13 февраля опять захватила, взяла за сердце и даже восхитила точностью взгляда и воспроизведения. Его сила — художественный репортаж. Чем меньше орнаментов и сентиментов и «сурьезных раздумий», тем получается лучше и умней. Чем отстраненнее автор, тем сильнее правда. Так в «Кречетовке», так в «Иване Денисовиче», так и лучшие главы в «Раковом корпусе». Соотношение таланта и нравственной личности примерно как у Катаева: когда пишет за других, пересиливает талант, когда пишет «от себя», прорываются и пошлость, и хамство, и безудержное самолюбование: «каждый мой прыщик — розочка», и мелкий по сути дух... Это самодовольная книга о «жизни по лжи».

Но еще мучительнее было читать в «Архипелаге» заведомо неправдивые страницы в главах о блатных, о коммуни-

---

<sup>8</sup> Н. А. Решетовская, первая жена Солженицына.

стах в лагерях, о лагерной медицине, о Горьком, о Френкеле (очередной образ сатанинского иудея, главного виновника всех бед, который в иных воплощениях повторяется в Израиле Парвусе и в Багрове).

Острую боль причиняли такие вскользь оброненные замечания, как «расстреливали главным образом грузины», «в лагерях ни одного грузина не встретил», или «комически погиб». (Само это словосочетание так же, как упоенное описание «рубилочки», поразительно для писателя, который называет себя христианином).

Разумеется, обо всем этом я не только думал, но и говорил, и не слишком парламентарно. Однако, говорил только с наиболее близкими людьми. А на вопросы любопытствующих соотечественников и иностранцев (журналистов, дипломатов и др.) отвечал неизменной формулой, которую повторил в заявлении по поводу пасквильной книжонки Ржезача (прилагаю) и на стр. 81 в книге воспоминаний.

Видимо, эти факты и были источником сообщений твоих московских корреспондентов об «излитии ненависти».

Нет, ненависти к тебе у меня не было, нет и не будет. А вот остатки уважения и доверия действительно начали иссякать еще в семидесятые годы. Ты пишешь, что мы не ссорились. Не знаю, как назвать разговор на Козицком в августе 1973 года по поводу твоей статьи «Мир и насилие». Я тщетно пытался доказывать, что твои утверждения противоречат действительному соотношению сил в мире, что весь дух статьи, пренебрежение к страданиям других народов, арифметические расчеты жертв противоречат самим основам христианства. Тогда я ушел от тебя с уверенностью, что отношения порваны. Однако вскоре началась широковещательная газетная травля тебя и Сахарова. А потом чекисты нашли «Архипелаг», и покончила самоубийством Вороньянская. Как же было отступаться от тебя? Хотя твое отношение к ее гибели было бесчеловечным — где уж там христианским! После моего звонка из Ленинграда ты написал столь же сердито, сколь и безрассудно («ты что думал, что я на похороны поеду?!»). А ведь звонил я только, чтобы скорее известить тебя об угрозе, о беде.

Твое отношение к Сергею Маслову, к Ефиму Эткинду, которые понеслись в Москву предостерегать тебя, хотя у них-

то не было ни Нобелевской премии, ни мировой известности, выявляло все новые черты твоего «многогранного» нравственного облика.

— А потом наступило 12-е февраля.

Озираясь назад, на десятилетия, перечитывая письма и дневники, и твои новейшие публикации, припоминая и заново осмысливая все, что перечувствовал и передумал раньше, я снова убеждаюсь, что больше всего мучит меня, вызывая не только боль, но и стыд, горькое сознание, что я в эти годы повторял ту же ошибку, которая была источником самых тяжких грехов моей молодости.

Тогда, во имя «великой правды социализма и коммунизма», я считал необходимым поддерживать и распространять «малые неправды» о советской демократии, о процветании колхозов и т. п. Веря в гениальность и незаменимость Сталина, я, даже зная правду, подтверждал враки о его подвигах, о его дружбе с Лениным, о его гуманизме и любви к народу.

И по сути так же поступал я, когда зная или постепенно узнавая «малые правды» о тебе, во имя великой общей правды об империи ГУЛАГ, которую ты заставил услышать во всем мире, я еще долго доказывал всем, что мол нет, он не мракобес, он безупречно честен и правдив. Ведь все мы в десятки тысяч голосов объявили тебя «совестью России». И я уверял, что ты никак не шовинист, не антисемит, что недобрые замечания о грузинах, армянах, «ошметках орды», латышах, мадьярах — это случайные оговорки.

И я ощущал себя в безвыходном лабиринте. Ведь в шестидесятые годы твои книги, твои выступления были и впрямь безоговорочно замечательными и значительными событиями нашей общественной жизни. Ты стал тогда плодотворной, объединяющей силой освободительного движения, которое нарастало еще и после 1968 года. Надеюсь, ты помнишь, как ты тогда радовался сотням подписей под протестами и призывами.

«Послесвечение» твоей заслуженной доброй славы действовало еще и после твоей высылки. Однако, после «Глыб» ты стал обыкновенным черносотенцем, хотя и с необыкновенными претензиями. И все же я продолжал защищать тебя, ли-

бо отрицая то, что становилось очевидным, либо стыдливо молчал, — и все ради великого «общего дела».

Сейчас уже видно, что те, кто задумал твою высылку, добились в конечном счете идеологического, политического выигрыша.

Пока ты был в Москве, твой миф, созданный естественно, всем ходом событий предшествующих лет, объединял и оплодотворял силы духовного сопротивления в стране и вдохновлял всех зарубежных противников сталинщины. Но, оказавшись на Западе, ты стал силой разъединяющей. Ты сам теперь создаешь свой миф, а искусственные, самодельные мифы бесплодны.

Ты оказался не объединителем, как надеялись мы, а главой одной секты фанатично преданных приверженцев или расчетливо услужливых раболепных порученцев.

Ты постоянно жалуешься на непонимание, на преследования. Но сам зло и спесиво напускаешься на Шрагина, на Тарковского, на Эткинда, на Синявского, на всех плюралистов. И во всех твоих окриках нет ни доказательств, ни серьезных возражений — где уж там говорить о терпимости к инакомыслию, — а только брань и прокурорские обвинения в ненависти к России.

Любое несогласие или, упаси боже, критическое замечание ты воспринимаешь как святотатство, как посягательство на абсолютную истину, которой владеешь ты и, разумеется, как оскорбление России, которую только ты достойно представляешь, только ты любишь.

Твою статью о фильме Тарковского могли бы с самыми незначительными словесными изменениями опубликовать «Советская Россия» и «Молодая гвардия». И суть, и тон, и стиль публицистики В. Кожина, Д. Жукова и др. и твоей родственно близки — «тех же щей чуть погуще влей».

Ты утратил обратную связь с большинством соотечественников и здесь, и там.

— Твои политические единомышленники на Западе охотно ссылаются на тебя, когда им нужно славить Франко, Пиночета, Бота и прочих авторитарных правителей, и когда доказывают необходимость приструнивать слишком демократических демократов и слишком либеральных либералов. Но

они, как правило, не знают России, не уважают и не любят русский народ и убеждены, что русским «нужны кнут и кумир».

Вице-президент Буш в августе 1983 года в Вене говорил о России, как о стране «вечного азиатского варварства».

Однако и ты, и Максимов, и Зиновьев поносите ненавистных вам либералов, «розовых», левых, пацифистов, плюралистов и т. п., хотя именно среди них чаще всего находятся люди, которые стремятся серьезно узнавать Россию, а главное — по-настоящему помогают всем, кто там сопротивляется советскому тоталитаризму, и всем, кого он преследует.

Ты еще в Москве не мог спокойно слышать, что кто-то протестует против советского произвола, так же, как и против турецкого или южно-африканского. Это «так же как и» ты осудил уже в своей нобелевской лекции, впрочем, тогда еще в сравнительно парламентарной форме.

Но ведь именно Белль, Грасс, Ленц и другие западные плюралисты, среди которых есть и консерваторы, и либералы, социал-демократы и еврокоммунисты, католики и протестанты, помогли нам в 60-е и в 70-е годы, помогли нам, и чехам, и полякам. И помогли бескорыстно, не из политиканских соображений, а в силу своего по-настоящему христианского или по-настоящему гуманистического мировосприятия. Они помогли Сахарову и тебе, так же как черному южно-африканцу Манделе, который уже больше 20 лет сидит в тюрьме, и белому африкандеру писателю Брайтенбаху, который семь лет просидел за то, что женился на «цветной» и отстаивал свое право на такое нарушение «расовой чистоты».

Тебе, Максиму, Гинзбургу, Буковскому они помогли более успешно. Ведь это они — западные плюралисты — добились Нобелевской премии, и с помощью ненавистного тебе Брандта добились, чтобы ты из Лефортово попал не в Пермь, а во Франкфурт. Потребовалось бы слишком много места, чтобы перечислить все, что Белль, Грасс, Ленц или, например, никому не известные дюссельдорфские молодые социалисты, создавшие большую группу «Эмнести», сделали, оказывая конкретную помощь конкретным людям, протестуя против арестов, обысков в Москве, и в Праге, и в Варшаве.

Но ты этого раньше не знал, да и сейчас, видимо, — судя по тому, что ты пишешь и говоришь, — знать не хочешь. И те люди в странах Запада, которые больше всего помогают всем нам, недоуменно и печально спрашивают: «Что произошло с Солженицыным? Почему такой хороший писатель стал таким плохим идеологом?»

— Твое нежданно-негаданное письмо, которое встретило нас, когда мы приехали в Кельн, нас обоих тронуло и обрадовало. Для нас прошлое не исчезает, оно с нами всегда. И мы не хотим его никак «редактировать». Вот нам и показалось, что и ты так же или похоже вспомнил наше общее прошлое.

Я отнюдь не думал, что можно восстановить дружеские отношения.

За это время мы были 4 раза в США, бывали и вблизи от твоего дома. Но у меня ни разу даже не возникло желания позвонить тебе. Так как я понимал, что разговор не получится, не хотел нового бесплодного спора, а «мирно сосуществовать» мы могли только на расстоянии. И я надеялся, что в переписке, так приветливо начатой тобою, может быть все же удастся кое-что друг другу объяснить. Мы оба надеялись, что и ты захотел сохранять доброе прошлое и ради этого исправишь некоторые «описки» в «Теленке» примерно так же, как исправлял кое-что в новых изданиях «Архипелага». Ты же иногда обнаруживал способность к самокритике, например, когда так хорошо, так честно написал о «позолоте погон», которая могла просыпаться в «пустоту за ребрами».

Однако твое письмо от 29.11.82 года показало, что надежды эти тщетны, что я уже ничего тебе не могу объяснить, что докричаться до тебя невозможно. И оставалось лишь, не пытаясь больше объясняться, — не затевать бесплодных споров.

Бесплодных потому, что ты, как и все наши истовые антикоммунисты, остаешься настоящим большевиком. Осуждая «излишества» западных свобод, вы здесь, в своих собственных журналах и газетах всего яростнее нападаете на тех же противников, на которых вас натаскивали в советских, сталинских школах, то есть на «гнилых либералов», на социал-соглашателей, на реформистов, примиренцев, на слабость

буржуазной демократии, на вырождение искусства, развратность «масс-медиа» и т. д. и т. п.

— Но я не хочу спорить ни с тобой, ни с кем из других «большевиков навыворот», потому что для меня главные противники — те, кто хозяйничают там, на родине. И главная моя забота — как помочь тем, кто им сопротивляется, кого там преследуют: и Андрею Дмитриевичу, и Зое Крахмальниковой, и Татьяне Великановой, всем, не различая убеждений и верований. И на это мы не жалеем ни времени, ни сил. (Но как мучительно стыдно бывает слышать вопрос: «А что сделал Солженицын, чтобы помочь Сахарову?»)

— Не хочу я полемизировать ни с тобой, ни с твоими единомышленниками и вообще ни с какими «идеологическими противниками» еще и потому, что знаю: плодами таких полемик бывают лишь разнокалиберные «Антидюринги». Но я предпочитаю «оспаривать грех, а не переругиваться с грешниками». К тому же у нас здесь много своей работы, которая нам по душе и представляется полезной для других.

— Ты и твои единомышленники утверждаете, что исповедуете религию добра, любви, смирения и справедливости. Однако в том, что ты пишешь в последние годы, преобладают ненависть, высокомерие и несправедливость. Ты ненавидишь всех, мыслящих не по-твоему, живых и мертвых (будь то Радищев, будь то Милюков или Бердяев). Ты постоянно говоришь и пишешь о своей любви к России и честишь «руссофобами» всех, кто не по-твоему рассуждает о русской истории. Нонеужели ты не чувствуешь, какое глубочайшее презрение к русскому народу и к русской интеллигенции заключено в той черно-сотенной сказке о жидомасонском завоевании России силами мадьярских, латышских и др. «иностранческих» штыков? Именно эта сказка теперь стала основой твоего «метафизического» национализма, осью твоего «Красного колеса». Увы, гнилая ось.

— Тебя-художника я действительно недооценивал. Но твою душу и твой разум я чрезвычайно переоценивал. Помнишь, как Толстой объяснял, что каждый человек — это дробь: числитель — то, что о нем думают другие, а знаменатель — то, что он сам о себе думает. Я долго не замечал, как все нарастал, как «медленно взрывался» твой знаменатель.

За эти дни Рая прочитала мне все твои письма, начиная с 1956 года, и наши дневниковые записи и письма некоторых общих друзей. Печальное было чтение. Сегодня становятся приметны корешки и завязи тех недобрых сил, которые раздували твой «знаменатель». Но все же ты был раньше куда лучше, чем ты сам себя изобразил в «Теленке».

Нет, я не хочу с тобой больше спорить, ни публично, ни вот так. Не хочу потому, что мне опостылело снова и снова думать о тебе, берeditь в душе мешанину из горя, гнева, стыда, жалости, которая возникает каждый раз, как начинаю думать.

Когда тебя исключали из Союза писателей, я написал Правление, взывая к их памяти и воображению. Так и сейчас, напоследок взываю к твоей памяти и воображению.

Желаю тебе и всем твоим доброго здоровья. Желаю тебе еще очень многих лет жизни, чтобы ты мог вернуться в Россию; авось станешь если не добрее, так умнее и все же поймешь, как саморазрушительно заблуждался в эти годы.

**Р. С.** Копию этого письма, а также копии трех твоих писем: 10.12.81 г., 29.11.82 г. и 11.1.85 г., и моего от 4.11.82 г., я посылаю: С. Бабенышевой, Т. Литвиновой, П. Литвинову, В. Некрасову, Ж. Нива, Е. Эткинду, В. Трубецкому и пошлю, если будет надежная okazия, некоторым друзьям в Москву. Посылаю с однозначным требованием: прочесть и хранить, не выпускать из рук, не распространять и не показывать никаким журналистам.

От редакции: Письмо Л. Копелева А. Солженицыну передал нам Е. Г. Эткинд в 1990 году с просьбой не печатать до его разрешения. В 1993 году Ефим Григорьевич это табу снял. М. Копелева и П. Литвинов также настаивали на публикации этого письма.